

РД
ПЧО

БОРИС ПОЛЕВОЙ

Борис Полевой

ИСТОРИЯ
МОИХ
РЕПОРТАЖЕЙ

жу вам: тех, кто в вас кислотой плеснул, кто вам шины порезал, поймали и задержали. Матерые фашисты. Так что китель ваш будет отомщен... — И с интересом спросил: — А вашу корреспонденцию о победе Отечественного фронта успели в «Правду» передать? Это хорошо. Спасибо. Это нам нужно...

Он все знал, все помнил, этот человек, умевший видеть и малое и большое, за всем следить, во все вникать. Сидя в ожидании летной погоды в гостинице «Болгария», слушая звуки музыки, отрывки песен, возбужденный говор, доносящийся с улицы в открытое окно, я думал об уроках, преподанных мне Георгием Димитровым, о его умении нацелить журналиста на главное, на основное. И еще думал о том, что благодаря этой беседе я прибуду на процесс не с голыми руками, а вооруженный пониманием того необычного, что доведется мне увидеть и услышать и о чем мне нужно будет писать.

3. БЕЗНОГИЙ ЛЕТЧИК СНОВА ВЫРУЛИВАЕТ НА СТАРТ

Нюрнбергский процесс! Кто из журналистов тех дней не мечтал на него попасть! Но Болгария. Но книга «Братушки». Но интереснейший материал к этой книге, в который я уже окунулся так, что в голове уже мелькали заголовки ненаписанных глав: «Село черных платков...» «Слава дедов и слава внуков»... «Славянское Возрождение на горе Витоша». Со всем этим пришлось проститься. Однако оттого, что телеграммы, настигшие меня в Болгарии, были подписаны главным редактором, ответственным секретарем, начальником военного отдела, от грифов «срочно», «немедленно», «первым самолетом», — от всего этого повеяло чем-то очень значительным, о чем я тосковал, выискивая ворохе получаемых редакций писем что-нибудь «интересненькое», «заслуживающее внимания».

Вернувшись в Москву, я бодрым шагом вошел в кабинет генерала Галактионова и по всей форме доложил о прибытии.

— Похвально, что вы проявили столь свойственную вам оперативность, дорогой Борис Николаевич, — доброжелательно произнес начальник военного отдела, осторожно трогая ладонью свои чисто вымытые и тщательно расчесанные седины. — Учите, задание наиответственнейшее. На вас редколлегия возлагает большие надежды. Придется соревноваться с лучшими перьями страны — Эренбург, Всеволод Вишневский, Константин Симонов, теперь вот и Крушинский — все уже там и пишут, очень интересно пишут. Так вот, завтра в десять ноль-ноль с Центрального аэродрома подниметесь на самолете. В Берлине капитан первого ранга Золин встретит вас на Шонефельде и вручит вам документы и полномочия.

— Но мне не в чем лететь. В Болгарии какая-то скворечница плеснула на меня кислотой, и на кителе огромная дыра, похожая очертаниями на остров Кипр.

— Вылетайте в штатском.

— Но у меня еще нет штатского — не обзавелся.

— А тот мундир, который вам по просьбе редакции сшили в специальной мастерской? Вот вы его, голубчик мой, в Нюрнберге и обновите.

— Парадный мундир?

— Да, именно. Международный процесс. Будет даже кстати... Но одежда — пустяк, повторяю: задание наизначительнейшее и совершенно в вашем духе. Нужна и хватка и оперативность. Вы же, как выражаются ваши коллеги, прирожденный «фитильщик».

Это журналистское словцо «фитильщик» очень странно прозвучало в устах благообразного, ученого генерала, который все еще не врос в нашу журналистскую среду, не сросся с ней.

Как бы там ни было, в двери дворца юстиции старинного города Нюрнберга, где проходили заседания Международного военного трибунала, я вошел в еще невиданной здесь советской парадной военной форме, — заключенный в тесный мундир с серебряным поясом, с двумя золотыми «столбиками» на рукавах, поблескивая голенищами-бутылками. Впрочем, это необычное, очень неудобное в повседневной носке одеяние, в котором мне пришлось попотеть, пока самолетом не выслали срочно пошитый китель, кажется, сослужил мне недурную службу.

Среди администраторов первой американской пехотной дивизии, в зоне оккупации которой находился город Нюрнберг, бывших, так сказать, хозяевами дома, распространился слух, что прибыл русский военный неведомого рода войск с особыми полномочиями. Чины дивизии, ведавшие на процессе административно-хозяйственными делами, в том числе и сам комендант «юстиц-палаца» полковник Эндрюс, сразу меня зауважали и стали выделять среди разноплеменных корреспондентов, слетевшихся сюда со всех концов земного шара, среди которых были и журналистские асы со звонкими международными именами.

На процессе этом раскрывались тайные тайных нацизма: юристы четырех держав антигитлеровской коалиции изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц неторопливо и тщательно анатомировали нацистское чудовище, как бы положенное перед ними на резекционный стол. Было о чем писать и что передавать в «Правду». Но о процессе этом я когда-то написал книгу и, так как сейчас я задался целью рассказывать лишь о самых интересных, особенно мне памятных репортажах, которые чему-то меня в свое время научили и остались в памяти след на всю жизнь, расскажу лишь об одном, посвященном допросу Германа Геринга и озаглавленном мною «Геринг запутывает следы».

Нет-нет, сам Геринг нас, советских корреспондентов, особенно не заинтересовал. Он был типичным порождением нацистской идеологии. И все-таки, хотя моя корреспонденция о допросе «второго наци рейха», напечатанная в «Правде», никаких особых сенсационных открытий не содержала и мало чем отличалась от того, что написали советские коллеги в других газетах, в моей литературной судьбе этот репортаж сыграл немалую роль.

До сих пор стоит перед глазами картина: осточертевший нам всем за месяцы пребывания на процессе зал «юстиц-палаца», освещенный мертвым светом люминесцентных ламп. Порфировые порталы входа. Советский обвинитель Роман Руденко, стоящий на дубовой трибуне и в своей обычной спокойной манере ведущий допрос. Геринг цедит сквозь зубы показания. Нет, не таким видел его Георгий Димитров в Лейпциге, не таким запечатлен он в хроникальных фильмах «третьего рейха», которые мы иногда просматриваем по вечерам.

Его толщина, прославленная карикатуристами всех газет мира, уже сошла, круглое лицо осунулось, одрябло. Щеки висят. Серый замшевый китель со следами множества орденов и медалей болтается на нем, как на манекене. Но серые, оловянные глаза не потеряли своей живости — энергично поблескивая, они раскрывают душевную бурю, как бы бушующую сейчас в голове этого человека. Нет, он не сломлен. Он отлично владеет собой. Это волк, загнанный в угол и с активной ненавистью скалящийся на своих преследователей.

— Подсудимый Герман Вильгельм Геринг, признаете ли вы как один из тех, кто развязал вторую мировую войну, что, организовав предательское нападение на Советский Союз, вследствие чего Германия оказалась разгромленной и была приведена к катастрофе, вы тем самым совершили величайшее преступление и привнесли беды самому немецкому народу. Отвечайте: да или нет?

Зал затаился. Судьи, мы, корреспонденты, да и сами подсудимые ждут, как ответит на это «второй наци» Германии.

— Это не преступление, это роковая ошибка, — медленно выговаривает Геринг. — Выступление против России отнюдь не было непродуманной авантюрией. — Геринг подымает свои оловянные глаза и смотрит в сторону ложи прессы, на нас, как бы адресуясь к мировому общественному мнению, к истории. — У нас была хорошая разведка, и мы знали приблизительно численность Красной Армии, мобилизационные возможности страны. Были осведомлены о ее вооружении и примерно знали масштабы и пределы русской промышленности. Я могу только признать, что мы поступили опрометчиво. Как выяснилось в ходе войны, мы многое недоучли, но, главное, мы не знали и не понимали русских. Они были и остаются загадкой для Запада, никакая самая хорошая агентура не может вскрыть истинный военный потенциал Советов. — Геринг помолчал. Поднял стакан с водой. Рука у него дрожала, и он, не отпив, поставил его обратно. — Я говорю не о числе орудий, танков, самолетов. Я говорю о людях. А русский человек был всегда загадкой, опасной загадкой. — И, подняв свои оловянные глаза к потолку, будто адресуясь к спрятавшемуся за газосветными трубками богу, закончил: — Наполеон тоже не понял русских. Мы лишь повторили его ошибку.

Русский человек всегда был и останется загадкой для иностранцев.

Допрос продолжался. Звучал молодой, напористый голос Руденко. Глухо цедил сквозь зубы свои ответы Геринг. Быстро бегали перья и карандаши по страницам репортерских блокнотов, а у меня в голове все еще звучало вынужденное откровение «второго наци» о загадочном русском человеке, недоступном для понимания Запада, о неведомом для иностранцев военном потенциале моей Родины. И ведь, произнося это признание, Геринг, по-видимому, не врал. Для нацистов с их фанатической верой в превосходство нордической расы, для всех этих гитлеров, герингов, геббельсов, мнивших себя белокурыми bestиями, героями сказаний о Нibelунгах, советские люди, наш огромный многоязычный народ, его способности, таланты, его окрыленность идеями коммунизма, превращающими простого парня в сказочного богатыря, — все это было неведомо и непостижимо для изобретателей жалкой теории о расе господ.

Я невольно снова и снова вспоминал о своей давней встрече в дни битвы на Курской дуге с безногим летчиком, образ которого крепко берегла память. Я пронес этот образ через всю войну. Сколько раз во время фронтовых затаивших я раскрывал синюю ученическую тетрадку с надписью «Дневник полетов третьей эскадрильи», которую возил повсюду с собой. Тетрадь, где была записана удивительная одиссея русского парня, рассказанная мне ночью под шепот дождя и артиллерийский гром, доносившийся с поля сражения на Курской дуге. Сколько раз, садясь за стол, давал себе слово набросать хотя бы просто конспект книги, которую мне рекомендовал написать обладатель твердого, размашистого почерка в надписи, сделанной на оттиске газетной полосы с моим очерком. Не выходило. Не получалось. Ускользал от меня безногий летчик, отесняемый текущими военными репортажами.

А вот теперь, когда прозвучали слова признания «второго наци», он как бы вошел в этот торжественный и так надоевший всем нам за дни процесса судебный зал, как бы встал за моей спиной, и вопреки всему происходящему на суде я мог думать только о нем. Да, вот он и такие, как он, и составляли тот самый таинственный потенциал Советов, который остался загадкой для нацистов, хотя они, конечно, были не дураки, располага-

ли чуткой разведкой и действительно умели воевать. Это был один из тех, кто в гигантских битвах под Москвой, под Сталинградом, на Курской дуге, в районе города Корсунь-Шевченковского громил и брал в плен сухопутные армии опытнейшего стратега Кейтеля, топил корабли Редера, уничтожал в неравных подчас схватках воздушный флот Германа Вильгельма Геринга. Это был тот, кто водрузил над металлическим скелетом купола рейхстага знамя Победы, пронесенное им через всю войну.

И тут же, на процессе, неведомо почему, ко мне пришло ощущение, что теперь вот и настала самая пора застеть за книгу о безногом летчике, с которым когда-то свела меня репортерская судьба. И не только ощущение, но и уверенность, что теперь эта книга пойдет. Признаюсь, захваченный этой мыслью, я торопливо, может быть, даже халтурно написал корреспонденцию «Второй наци держит ответ», отправил ее на телеграф, выслушал подтверждение о получении и, так сказать, выполнив долг перед редакцией, ринулся «домой», в свою крошечную комнатушку со склоненным потолком во флигельке за роскошным дворцом карандашного короля Фабера, в котором жила международная пресса. Бросил на стол пачку отличной бумаги, украденной в канцелярии трибунала. Сел и с ходу написал на первой странице:

«Повесть о настоящем человеке».

И пошло. Почувствовал, что пошло. Одна за другой возникали картины, описанные когда-то летчиком в ту летнюю ночь, образы его товарищей, всех хороших людей, которые помогли ему в совершении его почти невероятного, немыслимого подвига. Это странно. Это удивило меня самого. Мне почти не приходилось заглядывать в тетрадку с надписью «Дневник полетов третьей эскадрильи». Все записанное в ней живо вставало перед глазами, вырисовывалось, как на светочувствительной бумаге, положенной в проявитель. Самого героя не было рядом, я не видел его уже несколько лет. Не с кем было посоветоваться, чтобы что-то уточнить. Где он был, этот герой, я не знал. Как он довоевал войну, не знал тоже. Не знал даже, жив ли он или погиб смертью храбрых.

Но и это не мешало, не тормозило работу. С того дня, отсидев, именно отсидев положенное время на процессе, где продолжалось тщательное анатомирование по-

верженного нацистского чудовища, я спешил к себе, на новое свидание со своим летчиком.

Писалось необыкновенно легко. По несколько глав за ночь. Количество исписанных страниц увеличивалось, и под утро, разгибая спину, я с удовольствием взвешивал на руке уже довольно ощутимую пачку написанного.

— Ты, должно быть, выдвинул лозунг: «Искореним сон из нашего быта», — шутил мой фронтовой друг художник Николай Жуков, единственный, кого я посвятил в тайну моих ночных литературных бдений. Тема рождающейся книги Жукова чрезвычайно заинтересовала. Заинтересовала так, что по утрам, когда мы встречались с ним в умывальной комнате, он вместо полагающегося «с добрым утром» или «привет» спрашивал: — Ну как, все корпишь? Далеко уж заполз твой летчик?.. Пиши, пиши, буду иллюстрировать.

Словом, эта столько времени не дававшаяся мне книга была закончена за девятнадцать дней. Закончена, продиктована на машинку. Самолетом отправил ее в Москву, в редакцию журнала «Октябрь», тогдашнему редактору и моему крестному отцу в литературе Федору Ивановичу Панферову.

Было это, как я совершенно точно помню, первого апреля 1946 года. Помню потому, что жена моя ухитрилась родиться в этот обманный день. Отправляя рукопись в «Октябрь», я протелеграфировал жене, что в качестве подарка посыпаю книгу. На это она мне ответила весьма скептически: «Неужели у вас там на процессе хватает времени, чтобы заниматься такими бездарными первоапрельскими розыгрышами?» Не поверила.

Я ее понимаю. Действительно, сообщение о неожиданном рождении книги в столь необычной обстановке могло показаться розыгрышем. Но Николай Жуков, уже прочитавший перепечатанную рукопись по второму экземпляру, со свойственной ему экспансивностью говорил мне:

— Книга получилась.

И даже показал мне тут же, на процессе, набросанный эскиз одной из иллюстраций. На куске ватмана рядом с шаржированными головами Геринга, Кейтеля, Кальтенбруннера было изображено утро в лесу, снежное безмолвие и человеческие следы, оставленные на снегу и

теряющиеся у горизонта. Ну а остальным коллегам, как мы и теперь еще говорим между собой, «по нюрнбергскому сидению» я ничего говорить не стал, пока от Панферова не пришла телеграмма: «Повесть прочитана, получилась. Принята. Готовим к набору». И действительно, к моему возвращению из Нюрнберга Федор Иванович, человек широкой души, превыше всего любивший открывать новые литературные имена, преподнес мне номер журнала с «Повестью о настоящем человеке».

— Заглавие, отличное заглавие ты придумал, — сказал он мне, при этом из педагогических соображений воздерживаясь от иных похвал. — Снайперское заглавие. А главное, так сказать, двухствольное. А ведь заглавие — иногда половина успеха. А успех будет. У меня хороший нюх.

Мог ли я, газетный репортер, мечтать, что у книги этой, родившейся из непошедшего очерка, будет такая судьба: сотни изданий дома и за границей, переводы более чем на сорок языков. Пьеса, шедшая в десятках театров. Хороший фильм. Опера, которая шла в Большом театре, и музыка, которую написал к этой опере великий композитор Сергей Прокофьев. И первоосновой всего этого был репортаж, торопливо написанный на Курской дуге.

До сих пор жалею, что не удалось мне тогда выпросить у редактора Поспелова оттиск страницы с этим репортажем с размашистой надписью, сделанной синим карандашом на уголке газетного очерка таким знакомым почерком. Но я хорошо помню эту резолюцию, и эту полосу, и сам очерк, в котором в эмбриональном состоянии, по существу, как бы находились вся будущая книга, ее сюжетная схема и контуры главных героев.

Впрочем, удивительного в этом нет. В наших советских условиях именно работа в газете и для газеты дает возможность литератору держать руку на пульсе жизни, видеть нашу страну в ее поступательном движении, а движение это — в самых интересных проявлениях — позволяет знакомиться с самыми яркими современниками. Ведь недаром много хороших книг, прочно вошедших в каталоги библиотек и пользующихся особым спросом читателей, выросло именно из газетных очерков: «Чапаев» у Фурманова, «Волоколамское шоссе» у Бека, «Дни и ночи» у Симонова и, наконец, «Молодая гвардия» у Фадеева, впервые в зачаточном виде появившая-

ся в его репортаже на страницах «Комсомольской правды».

Разумеется, в этих книгах нет зеркального, репортерского отражения событий, образов, дел. Наряду с реальными персонажами, выхваченными авторами прямо из жизни, в книги пришли люди, с которыми авторы встречались и которых наблюдали в иных местах, при иных обстоятельствах. Но это неважно. В фамилии главного героя повести я заменил лишь «а» на «е» и тем самым как бы развязал себе руки, получив возможность распоряжаться судьбами героев по своему усмотрению, но сохранив конкретность и как бы саму душу героя.

Что же касается главного героя, о котором я сейчас веду рассказ, то по возвращении из Нюрнберга мы с ним встретились, возобновили знакомство, перешедшее в дружбу. И она, эта дружба, продолжается до тех самых дней, когда я пишу эту книгу и когда, в свою очередь, жизнь пишет как бы вторую часть «Повести о настоящем человеке», повесть о том же герое, может быть, не менее интересную, чем ту, что написана мною.

Сейчас вот, окидывая мысленным взором эту вторую часть, как бы написанную уже самой жизнью, не могу не поразиться, сколь жизнь изобретательна, сколь ловко она завязывает новые и новые сюжетные узлы и какой простор открывает для деятельности героя, продолжая рисовать и как бы психологически углублять его образ. Сколько трудностей поставила она, жизнь, перед Алексеем Петровичем Маресьевым (не через «е», а через «а») после того, как мы расстались с ним там, на курской земле, в дни грандиозной битвы. Он славно повоевал, количество зарегистрированных воздушных побед увеличил до восьми. Восемь сбитых неприятельских самолетов — это ведь крепкая репутация. И он стал в народе не уникумом, а признанным героем и любимцем всей авиации.

Но тяжелое и, может быть, главное испытание поставила жизнь перед ним уже после того, как прогремел салют Победы, стихли фронты и наступил мир на земле. Из героя своей части, храбрость, мастерство и заслуги которого были всеми признаны, он превратился в одного из тысяч инвалидов, навсегда искалеченных войной. Да, о нем, конечно, позаботились. Он получил хорошую пенсию, на которую мог жить с семьей безбедно. Ему по-

строили небольшую дачу и дали автомашину. Но по натуре своей он был не из тех, кого материальный достаток мог успокоить. И в мирной жизни он не хотел чувствовать себя выбитым из седла. И с тем же упорством, с которым он, когда-то обезножев, полз через фронт к своим, с тем же фанатическим напряжением, с каким он мучил себя, тренируясь для возвращения в военную авиацию, он стал приобщать себя к активной мирной жизни.

Занимался гимнастикой. Летом ездил на велосипеде. Зимой бегал на лыжах. Упорно, изо дня в день. Имея семиклассное образование, подготовился в Высшую партийную школу. Окончил ее с отличием. Поступил в Академию общественных наук при ЦК КПСС. Закончил ее, защитил кандидатскую диссертацию — и все это сочетая с активной общественной деятельностью, с докладами, выступлениями на собраниях и митингах, с участием в движении сторонников мира, активистом которого он стал с самого его возникновения.

Имя его становилось известным не только в военной авиации, но и во всей стране и за ее границами. В сорок девятом году в Париже, в огромном зале велодрома Плейель, он выступил перед десятками тысяч французских сторонников мира. Толпа, уже знавшая его историю, читавшая о нем, подхватила его на руки и, так как происходила в это время забастовка таксистов, несла его до гостиницы. Сколько таких вот проявлений народного восхищения приходится ему принимать! В Москве мальчишки по утрам кутились у подъезда дома, где он жил, иногда молчаливой стайкой сопровождали его по любому маршруту.

— Наделали вы делов со своей книгой, — шутливо сетовал он мне. — Житья не стало, хоть гримируйся иль бороду отращивай.

И самым характерным было то, что известность, которую можно, пожалуй, назвать и славой, не испортила его, не вскружила голову. Он продолжает оставаться таким, каким и был при первом нашем знакомстве: простым, деятельным, отзывчивым и даже немножко застенчивым.

Будучи избранным ответственным секретарем Советского комитета ветеранов войны, где он работает и сейчас, когда пишется эта книга, он слывет как один из самых работоспособных и притом внимательных, от-

зывчивых работников, не оставляющих без внимания ни одной человеческой беды.

Да, интересной, активной жизнью продолжает он жить вне страниц книги. И тут мне на память приходит один эпизод. В Москве проходило совещание министров иностранных дел держав антигитлеровской коалиции. На него слетелось и съехалось множество зарубежных корреспондентов, среди которых были и коллеги, с которыми я познакомился и подружился в дни Нюрнбергского процесса. На этом совещании я тоже был аккредитован как корреспондент.

Так вот, в один из перерывов ко мне подошли два югославских журналиста, мои давние знакомые, с которыми когда-то, в дни пасхальных каникул, на процессе мне довелось совершить автомобильное путешествие по странам послевоенной Европы. С ними подошел тоже знакомый мне американец, сливущий асом острого репортажа. Подошли, сказали, что только что заключили пари и попросили меня быть арбитром спора. Ставка была довольно серьезная. Проигравший должен был выставить пять хороших ужинов с напитками. Суть же пари заключалась в том, что, оказывается, американский коллега не поверил тому, что я сообщал в послесловии книги, что все описанное произошло на войне, что герой книги продолжает жить и что я изменил лишь одну букву в его фамилии. Ну а югославы, знавшие по Нюрнбергу, как и на основе чего рождалась книга, выступили, так сказать, в защиту правдивости автора и советской литературы вообще.

Я согласился быть судьей, но при условии, если американский коллега обоснует свое неверие.

— О'кэй, нет ничего проще, — сказал он, протягивая руку с растопыренными пальцами. — Во-первых, — и он загнул первый палец, — во-первых, я сам немножко летчик, вожу спортивную авиетку, знаю, какая тонкая машина военный истребитель. Ведь когда летчик волнуется, волнение его передается через штурвал, и самолет начинает вибрировать. А у вас самолет ведет парень без ног, и не просто ведет, но и ведет на нем бой. И не только ведет бой, но и побеждает в воздухе асов Геринга, а они, как известно, имели отличную школу и были мастерами своего дела. Во-вторых, — и он загнул второй палец, — если этот уникальный парень действительно совершил то невероятное, что вы описали, во имя чего он

старался? Для чего прилагал такие нечеловеческие усилия? Для того только, чтобы потом с прежним званием старшего лейтенанта сесть в боевую машину, снова и снова подвергать свою жизнь опасности? Вот если бы вы показали его мечту о том, что его произведут в генералы или, скажем, назначат руководителем одной из ваших промышленных корпораций, что обеспечило бы его до конца дней, — тогда стоило бы ему все проделать. И, наконец, третье, четвертое и пятое, — и он загнул три оставшихся пальца, ну, скажем, вы правы, описали реального человека, продолжающего реально жить. Так вот, а если этот человек сделает что-то, что скомпрометирует его, что не понравится вашему правительству, книгу вашу выбросят или сожгут, вычеркнут из библиотечных списков. Да и на вас тень падет. Вы ведь страна пурitan, у вас ничего не прощается. Погибнет книга.

Он поднял перед моим носом руку с зажатыми пальцами.

— Вот мои доводы. Попробуйте их опровергнуть. Жду.

Я опровергать не стал. В какой-то степени я даже понял логику мыслей моего противоборца. Ну где было ему, пусть асу журналистики, пусть человеку умному, но выросшему в мире, где все продаются и покупаются на зеленые бумажки, где с самого нежного возраста людей воспитывают в преклонении перед его величеством долларом, где даже движения души подчиняются чувству реальной выгоды, где ему было понять, что идеи коммунизма делают из самых простых людей героев и что во благо своего социалистического Отечества люди, забывая об опасности, о выгодах, готовы идти на любой подвиг.

Такие доводы показались бы моему умному оппоненту «красной пропагандой». Да и не стал я с ним спорить. Я попросил Алексея Петровича приехать в гостиницу «Советская» и этим убедить моего оппонента в реальности своего существования. Все мы вместе поужинали в ресторане этой гостиницы, поужинали невпустую, а согласно условию спора, с напитками, и американский коллега, ни слова не возразив, расплатился по счету за свое неверие в правдивость советской литературы и в силу советского характера.

Но на этом спор не кончился. Окончательно убедить оппонента мне все-таки не удалось. Он потом признался,

что втайне продолжал не верить мне, продолжал думать, что все, что я в этой книге рассказал, а в послесловии уточнил, — все это сделано для того, чтобы придать книге то, что американцы называют почти непереводимым словом «паблисити», рекламой, что ли.

И когда через несколько лет с делегацией ветеранов второй мировой войны, встречавшихся на Эльбе с американцами, мы с Алексеем Петровичем прибыли в Вашингтон и были тепло встречены американскими ветеранами, среди корреспондентов, пришедших на Вашингтонский аэродром, оказался и тот самый ас журналистик, угощавший нас ужином в ресторане гостиницы «Советская». Это меня удивило. Я знал, что за прошедшие годы он сделал в своей весьма респектабельной газете большую карьеру — стал одним из ее боссов и уже не занимался репортажем. И вот он здесь. Дружески жмет наши руки, улыбается широко, по-американски, так, что можно пересчитать все его ровные белые зубы.

Алексей Петрович, судьба которого известна и здесь, за океаном, сразу же оказался в центре внимания журналистов. Посыпались вопросы:

- На каком самолете вы летали?
- Что пережили вы, когда сбили первую вражескую машину?
- Сколько ваше правительство платит летчику за каждый сбитый вражеский аппарат?
- Какую пищу вы предпочитаете: мясную или вегетарианскую?
- Верите ли вы в бога? И если верите, какую религию исповедуете?

Алексей Петрович застенчиво улыбался, чувствуя себя, вероятно, как степной конь, атакованный тучей слепней. Наш старый знакомый вопросы не задавал. Он с усмешкой посматривал на гостя, атакованного его коллегами, а потом тихо сказал мне:

— И все-таки я вам не верю... Как хотите, а не могу поверить.

Раз я вспомнил об этой встрече на столичном аэродроме округа Колумбия, США, не могу умолчать и об одном смешном, но все-таки показательном эпизоде, произшедшем во время этой поездки. В разданном представителям печати пресс-релизе сообщалось, что в делегации будут автор и герой его книги. Алексей Петрович

был, что называется, в форме. Он легко сбежал по трапу. У меня же иной раз бывают приступы ревматизма, которые мучают меня после контузии, полученной когда-то в Сталинграде. Я сошел с лестницы с трудом, боком. И произошла путаница. На следующий день по фотографии Маресьев фигурировал как Полевой, а Полевой — как Маресьев. С этой путаницей мы смирились, так и ходили по Вашингтону, поменявши фамилиями до тех пор, пока не пришла пора возлагать на Арлингтонском национальном кладбище венки на могилу Неизвестного солдата. По здешнему ритуалу военный, возлагающий венок, должен опуститься на одно колено. Естественно, я проделал это легко, а у Алексея Петровича из-за протезов возникли трудности. Так мы снова обрели свои имена, и это стало даже темой для шутки на странице воскресного юмора в одной из газет.

Из-за скучности отпущеных нам средств делегация наша размещалась по двое в каждом из номеров. Мы жили с Алексеем Маресьевым. Здорово устав за день, битком набитый всякими мероприятиями, встречами, обозрением разных диковин, мы едва добрались до своих кроватей. Улеглись, выключили свет. Я почти сразу задремал и уже сквозь сон услышал, как, скрипя протезами, мой друг прошел в ванную, как зашумела вода, как он умывался, фыркая и довольно похочатывая. Потом заскрипела его кровать, протезы стукнули о пол. Звук этот меня как-то сразу окончательно разбудил. Ведь точно так было когда-то в военной обстановке, в открытой в откосе оврага землянке во время битвы на Курской дуге. Живо возникла перед глазами та давняя картина. Шелест расходившегося дождя. Показалось, что даже почувствовался, как тогда, запах лесной ма-лины.

Там, за окном гостиницы, истерично поквакивали сирены не то полицейских, не то санитарных машин. В открытые окна врывался прохладный воздух, насыщенный копотью и выхлопными газами. Чужая, незнакомая, малопонятная жизнь шла на улице. И на фоне этой чужой жизни, чужих звуков как-то особенно ярко вспомнилась мне ночь нашей первой с Маресьевым встречи.

Сна как и не было. Алексей Петрович, по-видимому, тоже бодрствовал.

- Не спите?
- Не сплю. Устал, еле до кровати дополз, а сна нет.

— А помните, как вы у меня под Курском ночевали?
На полевом аэродроме.

— Да, хорошо помню, как раз об этом и думаю.

Оказывается, мы думали об одном и том же. Я помню об этой ночи под Курском до сих пор и не забуду о ней никогда, как никогда не забуду и того моего репортажа, который, к моему огорчению, так и не был опубликован тогда в «Правде».

4. ПРИВИДЕНИЕ, КОТОРОЕ ВДРУГ ВЕРНУЛОСЬ

На Нюрнбергском процессе, продолжавшемся около одиннадцати месяцев, нам, корреспондентам, скучать не приходилось. Суд медленно, неторопливо, как нам казалось, слишком неторопливо, листал страницы чудовищных преступлений нацизма, и каждое из них давало нам страшный, но интересный для репортера и очень поучительный для читателей материал. Я не забывал мудрый урок, данный Георгием Дмитровым, и, вспоминая теперь те дни, могу сказать не без гордости, что мне удалось написать несколько действительно серьезных очерков.

Но говорить о них сейчас не буду, ибо, как я уже говорил, после процесса вышла книга моих нюрнбергских дневников, неоднократно издававшаяся и у нас и за границей.

Здесь же расскажу лишь об одной из нюрнбергских корреспонденций, да и то потому, что она напомнила мне другую, которую я написал о победном finale Сталинградской битвы и которая тоже, по причинам мне и теперь непонятным, не увидела свет в газете.

Величайшее сражение второй мировой войны, разыгравшееся на Нижней Волге, шло к концу. Наступавшие с востока и запада фронты сомкнулись, захлопнув в руинах Сталинграда огромную неприятельскую группировку, продолжавшую яростно сопротивляться. Группировка эта весьма умело была разрезана нашими войсками на несколько частей. Каждая из этих частей, в свою очередь, была окружена. И все-таки продолжалось яростное сопротивление. Нашим наступающим дивизиям

приходилось вести тяжелые уличные бои, с тем чтобы понудить эти части к капитуляции.

Всем — и нам и противнику — было ясно, что бушевавшая столько дней грандиозная битва на Волге уже выиграна Красной Армией. Помощи окруженным частям ждать было неоткуда — доедали последнее продовольствие, расстреливали последние боеприпасы. Но сопротивлялись, сопротивлялись яростно, фанатично, как умеют это делать немецкие солдаты, имеющие приказ держаться до последнего. И хотя по агентурным данным и от сдавшихся в плен немецких офицеров мы знали, что многие генералы из штаба 6-й армии в разное время и под разными предлогами, осознав бесполезность дальнейшего сопротивления, улетели на самолетах за пределы катастрофы, мозг окруженной группировки не был парализован. Командующий 6-й армией Фридрих Паульс, один из самых дальновидных генералов противника, продолжал оставаться в центре окруженного города и по радио руководил сражением своих разрозненных частей.

Пленные единодушно показывали, что Паульс опытен, храбр, тверд и упорен. Утверждали, что он, подобно некоторым другим генералам, не покинет своих солдат, не улизнет на самолете, хотя такая возможность еще есть, и будет сопротивляться до конца, до последнего, сражаться и надеяться на помощь, которая идет и придет... Был также перехвачен приказ по всем вооруженным силам Германии: генерал Фридрих Паульс, находящийся в Сталинграде, получил фельдмаршальский жезл и высшую награду рейха.

От пленных было даже точно известно, что Паульс вместе со своей оперативной группой находится в подвале под почти полностью разрушенным массивным зданием универмага, что оттуда он по радио и руководит сопротивлением окруженных частей и даже ухитряется корректировать это сопротивление. Наша авиация ежедневно бомбила ту часть города. Снимки воздушных разведчиков показывали: универмаг — это уже огромная руина. Но борьба продолжалась.

Мне уже довелось писать в «Правде» о героях этой удивительной битвы: о сержанте Павлове, который с несколькими товарищами долгое время оборонял один небольшой двухэтажный дом, окруженный немецкими частями. Писал о двух солдатах-пулеметчиках Таракуле